

КОНСТАНТИН ПОЛИВАНОВ

«Доктор Живаго» и «Бывшее и несбывшееся» Федора Степуна (Опыт параллельного чтения)

В 1958 году философ, писатель, мемуарист, профессор специально для него созданной в Мюнхенском университете кафедры истории русской культуры Федор Августович Степун (1884–1965) стал одним из корреспондентов Бориса Пастернака. За год до того Пастернак спрашивал о нем своего многолетнего эпистолярного собеседника П.П. Сувчинского:

...Знаете ли Вы Фед. Авг. Степуна в Мюнхене, он профессором при тамошнем университете? Я не знаю его адреса и не переписывался с ним никогда, я в этом году прочел его предисловие к Цветаевской прозе и еще позже, осенью узнал с радостью, что он жив и здоров, и порадовался тому, с каким восторгом о нем отозвались Андреевы и Со-синские и два молодых немецких студента из Мюнхена, бывшие на фестивале.

Попытаюсь послать Вам два экземпляра Фауста, не знаю, дойдут ли, один для Вас, другой для пересылки Степуна... (Пастернак X: 283).

Далее в том же письме Пастернак формулирует то, что было для него важнейшим в переводе «Фауста», — как он понимает задачу поэтического перевода на язык другой эпохи и культуры — добавляя, что в этом он рассчитывает на сочувствие Степуна:

Вот что в Фаусте было самое главное. Мне хотелось, чтобы слова заключительно-го мистического хора и пасхального богослужения и говора на народном гулянье и язык женской страсти и горя, и дьявольщины и волшебных превращений, чтобы все это было в один уровень друг с другом и все сплошь, и таинства и повседневность, одинаково подлинно и горячо жило, значило, двигало и говорило. Чтобы глубина и бездонность были в действии, а не в притязательной стилизации и изображении. За этой работой, проделанной чрезвычайно быстро (вперемежку с «Д-ром Живаго») в год с чем-то, у меня было такое чувство, что какой-то новый

Автор — доцент НИУ ВШЭ. Настоящая работа — фрагмент курса ВШЭ «Система российской словесности».

КОНСТАНТИН ПОЛИВАНОВ

шаг сделан в русской лирике, достигнута какая-то новая ее ступень, вроде того, что ли, как самым ошеломляющим существом Тютчева, а потом и Блока, мне представляется до сих пор ощутимая легкость, обиходность и естественность языка, отвечавшего новизне их времени, свежести беглого текучего словаря, на каждом шагу предоставляющего мгновенный ненасильственный выбор. Но при условии такого простого прозрачного пересказа, передача трагедии есть наиболее прямое философское ее толкование. Я думаю, это не может не интересоваться Степун (Там же).

В письме, отправленном самому Степуну, Пастернак, вспоминая о встречах в России, формулирует свое отношение к прошлому:

...Я с таким живым чувством пишу Вам не под влиянием воспоминаний. Я не поклонник прошлого, я противник прохождения жизни заново в растроганных повторных пересмотрах. Наоборот, я полон счастья при мысли, что мы оба, Вы и я еще живы в такое время, когда все меньше становится остатков самоуслаждающейся праздности, когда так дорого стоит и оплачивается каждое движение души, когда все так реально... (Там же).

В другом письме он дает замечательную характеристику того мрачного семилетия советской истории, в течение которого был написан роман «Доктор Живаго»:

Обстоятельства кругом были так отчетливы, так баснословно ужасны! Приходилось только всей душой прислушиваться к их подсказу и покорно следовать их внушению. Время приносило самое главное в произведении, то что при свободе выбора всего труднее: *определенность содержания*. Теперь все гораздо легче и сказочно благоприятствует мне, но я уже больше не слышу голоса необходимости, которому подчинился... (Там же, 334).

Федор Степун — автор статьи о романе «Доктор Живаго», напечатанной в «Die Neue Rundschau» и в «Новом журнале» в 1959 году¹. Как указывают М.О. Чудакова и О.П. Лебедушкина, немецкий вариант статьи вскоре стал известен Пастернаку (Чудакова, Лебедушкина 1992: 272).

Степун писал о связи поэтической эволюции Пастернака с футуризмом и символистами, о переключках в «Докторе Живаго» с предшествующими текстами автора, о продолжении в романе символистской традиции, и прежде всего «Петербурга» А. Белого², о пастернаковском понимании истории и христианства, об особенностях взаимосвязи формы и содержания в романе.

Никто не будет оспаривать, что действующие лица «Доктора Живаго» лишены той толстовской стереоскопичности, которую сохранили в своем творчестве и Чехов

«ДОКТОР ЖИВАГО» И «БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ» ФЕДОРА СТЕПУНА

и Бунин... Отсутствие этой пластичности, однако, не объясняется недостаточностью пастернаковского дарования, а требованием того стиля, в котором задуман и выполнен «Доктор Живаго». <...> носители эпизодических ролей возникают в нем с бросающейся в глаза рельефностью.

По поводу упреков в недостатках изображения характеров, предъявлявшихся тогда Пастернаку, Глеб Струве писал Степуну 15 мая 1959 года:

...отсутствие выпуклости у Юрия Андреевича и Лары нарочитое; ...глупо говорить о неумении Пастернака изображать — и притом индивидуализировать живых людей, когда мы находим у него такие прекрасные изображения второстепенных персонажей (то самое, что говорите Вы). Приходилось говорить, что «невероятные» совпадения, которые смущали и «соблазняли» многих квалифицированных критиков, не результат неумения и неопытности, а часть, неотъемлемая часть общего замысла (Рудник, Сегал 2001).

Мемуарная книга «Бывшее и несбывшееся», написанная Степуном в годы Второй мировой войны³, вышедшая по-русски в Нью-Йорке в 1956 году, позволяет увидеть близость взглядов Степуна и Пастернака на происходившее в России в начале XX века, на историю и культуру в целом, — при том, что текст Степуна был, по-видимому, неизвестен поэту в период писания «Доктора Живаго».

Мемуары Степуна касаются фактически тех же лет и событий начала XX столетия, что и роман Пастернака. Москва 1900–1910-х годов, фронт и тыл Первой мировой войны, судьба черты оседлости в годы этой войны, восприятие революции на фронте, Москва первой революционной зимы с болезнями и «немыслимым» бытом (если воспользоваться эпитетом из стихотворения «Разлука», вошедшего в роман «Доктор Живаго»).

Обстоятельства жизни, увлечения и вкусы мемуариста отчасти напоминают обстоятельства жизни самого Пастернака, а отчасти его героя. Степун, как Пастернак, родился в Москве. Окончив московское реальное училище св. Михаила, в России он поступить в университет не мог и отправился учиться в Германию. Он изучал философию в Гейдельберге в 1902–1909 годах у неокантианца Вильгельма Виндельбанда. И Пастернак и Степун тесно соприкасались в университетские годы с революционной (эсэровской) молодежью.

Степун, как и Пастернак, восхищался поэзией Р.М. Рильке и Блока. С поэзией последнего Степун, подобно Пастернаку, связывает такую характерную черту русской предреволюционной жизни и культуры как железные дороги, встречи и расставания в вагонах и на станциях.

Вспоминая свои разъезды по России, вспоминаю прежде всего русские вагоны, совсем иные чем в Западной Европе...

КОНСТАНТИН ПОЛИВАНОВ

Роман Анны с Вронским начинается поездом и кончается им. Под звук поездных колес рассказывает Позднышев в «Крейцеровой сонате» совершенно чужим его людям об убийстве жены, и мы чувствуем, что нигде, как в поезде, он не смог бы исповедаться с такою искренностью. Замерзшею рукою стучит Катюша Маслова в ярко освещенное окно вагона первого класса <...> «Дым, дым, дым» развертываются в поезде скорбные раздумья Литвинова-Тургенева. Провожая жену своего приятеля и прощаясь с нею в вагоне, скромный герой одного из самых нежных рассказов Чехова <...> В «Лице» Бунина тема блаженно-несчастной любви и творческих скитаний духа еще глубже и еще таинственнее сливается с темой той железнодорожной тоски, о которой пел Александр Блок:

Так мчалась юность бесполезная
В пустых мечтах изнемогая,
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да, было что-то в русских поездах, что, изымая души из обыденной жизни, бросало их «в пустынные просторы, в тоску и даль неизжитой мечты» (Степун I: 223).

В свою очередь, в «Докторе Живаго» с железными дорогами, станциями, встречами в вагонах и, наконец, со стоящими поездами связано множество определяющих ситуаций и эпизодов. Первая глава романа названа «Пятичасовой скорый», с остановкой поезда связана смерть отца главного героя, а среди его попутчиков оказывается Миша Гордон; описание революции 1905 года включает изображение железнодорожной забастовки; по железной дороге возвращается Живаго с фронта; множество линий завязывается вокруг путешествия семьи Юрия на поезде в Варыкино; задерживать железнодорожные составы пытаются Коля Фроленко и одна из сестер Тунцевых; в вагонах происходят встречи Живаго со Стрельниковым и Самдевятовым, и так далее.

Напоминает ситуацию из романа Пастернака и описание Степунном перипетий своих юношеских любовных историй: влюбленности в девушку Людмилу, взаимоотношений с кузиной во время проведенных в Пруссии летних университетских каникул и, наконец, отношений Людмилы с невестой Степуна Аней.

Приведем несколько цитат:

«Проклятыми вопросами» я начал мучиться уже в школе. В Коломне муки мои еще усилились. Узел их был в том, что я, как и полагается, с 17 лет был страстно влюблен; теоретически же не менее страстно увлечен аскетической проповедью Толстого. Из столкновения влюбленности и толстовства в душе и уме поднималась страшная путаница ...я тут же в который раз, — начинал все тот же нескончаемый разговор о любви в духе послесловия к «Крейцеровой сонате»... (Там же, 93)

«ДОКТОР ЖИВАГО» И «БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ» ФЕДОРА СТЕПУНА

Интеллигентское понимание любви не допускало ревности. Своими прекрасными итальянскими глазами она иной раз подолгу смотрела на портрет Соловьева, «Смысл любви» которого мы когда-то с восторгом читали. Жалела ли она в эти минуты о том, что, приехав спасать меня от «отвлеченной чувственности», она не нашла в себе сил отказаться от «отвлеченной духовности», я и поныне не знаю (Там же, 167).

Здесь невозможно не вспомнить размышления дяди главного героя — Николая Николаевича Веденяпина о дружеском кружке, куда входил его племянник:

У них там такой триумвират ...Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начался «Смысла любви» и «Крейцеровой сонаты» и помешан на проповеди целомудрия. Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них заходит ум за разум. Они страшные чудаки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень неудачный выбор слова... (Пастернак IV: 41–42)

Описывая выступления Керенского на фронте весной-летом 1917 года, Степун использует те же детали и метафоры, к которым прибегает Пастернак в стихотворении «Весенний дождь» из «Сестры — моей жизни» (впрочем, не исключено, что Степун мог помнить это стихотворение):

...Лужи на камне. Как *полное слез*
Горло — глубокие розы, в жгучих,
Влажных алмазах. Мокрый нахлест
Счастья — на них, на ресницах, на тучах.

...В чьем это сердце вся кровь его быстро
Хлынула к славе, схлынув со щек?
Вон она бьется: *руки министра*
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором
Рвущееся: «Керенский, ура!»,
Это слепящий выход на форум
Из катакомб, безысходных вчера.
Это не розы, не рты, не ропот
Толп, это здесь, пред театром — *прибой*
Заколебавшейся ночи Европы,
Гордой на наших асфальтах собой.
(Пастернак I: 128–129)

КОНСТАНТИН ПОЛИВАНОВ

А вот что читаем у Степуна:

Успех Керенский имел на фронте потрясающий ... как сейчас вижу Керенского, стоящего спиной в своем шестиместном автомобиле. Кругом плотно сгрудившаяся солдатская толпа... фигура дважды раненого пехотного поручика. *Приоткрыв рот, он огромными, печальными глазами, полными слез, в упор смотрит на Керенского... Керенский — в ударе... его широко разверстые руки то опускаются в толпе, как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося у его ног народного моря, то высоко поднимаются к небу... Приливная волна жертвенного настроения вздымается все выше... Русской свободе сейчас не до немцев* (Степун II: 76–77).

Степун описывает характеры бывших политкаторжан, которые становились после революции 1917 года вождями и ораторами:

То и дело вскакивавшие на красную кафедру вожди революции были, конечно, весьма различными людьми и весьма разнокалиберными политиками, но все они были связаны друг с другом неким общим, как бы семейным сходством. *Пройденный почти всеми ими тюремно-ссылный стаж придавал их революционному исповедничеству одинаковую ноту нервной озлобленности* (Там же, 52).

Таковыми озлобленными «исповедниками» на страницах романа Пастернака предстают члены Юрятинского трибунала бывшие политкаторжане Антипов и Тиверзин: «безжалостные, холодные как машины» (Пастернак IV: 311); ср. чуть далее:

старые участники первой революции, среди них угрюмый, изменившийся Тиверзин и всегда ему поддакивавший друг его, старик Антипов. Сопричисленные к божественному разряду, к ногам которого революция положила все дары свои и жертвы, они сидели молчаливыми, строгими истуканами, из которых политическая спесь вытравила все живое, человеческое (Там же, 316).

Юрия Живаго, находящегося в плену у партизан, выводит из себя манера говорить и пропагандистский лексикон начальника отряда Ливерия, который убеждает доктора посещать собрания:

Опять вы не были на вчерашних занятиях. У вас атрофия общественной жилки, как у неграмотных баб и у заматерелого косного обывателя. Между тем вы — доктор, начитанный и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется? (Там же, 336).

И далее:

И все же посещение собраний и общение с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение. Вы не стали бы предаваться

«ДОКТОР ЖИВАГО» И «БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ» ФЕДОРА СТЕПУНА

меланхолии. Я знаю, откуда она. Вас угнетает, что нас колотят, и вы не видите впереди просвета. Но никогда, друже, не надо впадать в панику. <...> Наши неудачи временного свойства. Гибель Колчака неотвратима. Попомните мое слово. Увидите. Мы победим. Утешьтесь. «Нет, это неподражаемо! — думал доктор. — Какое младенчество! Какая близорукость! Я без конца твержу ему о противоположности наших взглядов, он захватил меня силой и силой держит при себе, и он воображает, что его неудачи должны расстраивать меня, а его расчеты и надежды вселяют в меня бодрость. Какое самоослепление! Интересы революции и существование солнечной системы для него одно и то же». Юрия Андреевича передернуло. <...> От Ливерия это не укрылось.

— Юпитер, ты сердисься, значит ты неправ, — сказал он.

— Поймите, поймите, наконец, что всё это не для меня. «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать бе», «Мор сделал свое дело, Мор может уйти», — все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязши в нищете и невежестве, и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас и ну вас всех к чорту. Властители ваших дум грешат поговорками, а главную забыли, что насильно мил не будешь, и укоренились в привычке освобождать и осчастливливать особенно тех, кто об этом не просит. Наверное, вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, ото всего, что мне дорого и чем я жив (Там же, 336–337).

Вернувшись из плена в Юрятин, доктор поражается безжизненным трескучим фразам большевистских указов, расклеенных в городе:

У Юрия Андреевича закружилась голова от нескончаемости этих однообразных повторов. Каких лет были эти заголовки? Времен первого переворота, или последующих периодов, после нескольких белогвардейских восстаний в промежутке? Что это за надписи? Прошлогодние? Позапрошлогодние? Один раз в жизни он восхищался безоговорочностью этого языка и прямою этой мысли. Неужели за это неосторожное восхищение он должен расплачиваться тем, чтобы в жизни больше уже никогда ничего не видеть, кроме этих на протяжении долгих лет не меняющихся шальных выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых? Неужели минутою слишком широкой отзывчивости он навеки закабалил себя?

Откуда-то вырванный кусок отчета попался ему. Он читал:

«Сведения о голоде показывают невероятную бездеятельность местных организаций. Факты злоупотребления очевидны, спекуляция чудовищна, но что сделало бюро местных профторгов, что сделали городские и краевые фабзавкомы? Пока мы не произведем массовых обысков в пакаузах Юрятина-товарного, на участке

КОНСТАНТИН ПОЛИВАНОВ

Юрятин-Развилье и Развилье-Рыбалка, пока не применим суровых мер террора вплоть до расстрела на месте к спекулянтам, не будет спасения от голода».

«Какое завидное ослепление! — думал доктор. О каком хлебе речь, когда его давно нет в природе? Какие имущие классы, какие спекулянты, когда они давно уничтожены смыслом предшествующих декретов?» (Там же, 378–379).

Об этом же языке штампов и клише в речах и текстах революционных вождей пишет Степун:

К тому же все они говорили на одном и том же специфически революционном жаргоне. На этом жаргоне беспартийный интеллигент назывался «пленником буржуазии», буржуазный политик — «агентом капитала», не верующий в Маркса социалист — «мелко-буржуазным обывателем», крепкий крестьянин — «хозяйчиком», сильный, но правый человек — «бонапартенышем», прокурор Святейшего Синода — «святейшим прокурором», левый бандитизм — «волеизъявлением трудовых масс», хозяйственная озабоченность крестьянства — «проявлением черносотенного хулиганства», развал России — «углублением революции» (Степун II: 52).

Степун вспоминает о бытовых условиях жизни в послереволюционной Москве: «Бывший дворник требует или полбутылки водки, или пять фунтов хлеба. Хлеба достать не удастся, но через знакомого бактериолога, заведующего лабораторией, достаем спирт» (Там же, 245).

Сходным образом осенью 1917 года готовится к приему гостей жена Живаго Тоня: «...А Гордона попрошу спирту принести. Он в какой-то лаборатории достает» (Пастернак IV: 170).

Степун описывает знакомое московское семейство, покинувшее Москву во время голода гражданской войны: «Продав за гроши московское дело, Никитины переехали в Ивановку. Им казалось, что на нескольких десятинах земли, обрабатываемых своими руками, будет легче не умереть с голоду, чем в Москве» (Степун II: 243).

Теми же соображениями руководствуются жена и тесть Юрия Живаго, когда отправляются из столицы в Варыкино. Тоня ссылается при этом на советы сводного брата героя, Евграфа Живаго:

Он говорит, что на год, на два надо куда-нибудь уехать из больших городов, «на земле посидеть». Я с ним советовалась насчет крюгеровских мест. Он очень рекомендует. Чтобы можно было огород развести, и чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по-бараньи.

В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал, в бывшее имение Варыкино близ города Юрятина (Пастернак IV: 206).

В 1922 году Степун, подобно тестю главного героя, Александру Александровичу Громеко, был выслан из России.

«ДОКТОР ЖИВАГО» И «БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ» ФЕДОРА СТЕПУНА

Параллели в изображении атмосферы, событий и персонажей в книгах Степуна и Пастернака позволяют заключить, что в основе восприятия и оценки философом пастернаковского романа лежало глубинное сходство у них с автором «Доктора Живаго» в понимании эпохи, законов истории и человеческих судеб. Мемуары Степуна ставят под серьезное сомнение упрек Ахматовой, писавшей, что картина начала века нарисована Пастернаком в романе совершенно необъективно (Поливанов 1990: 107).

примечания

- ¹ *Stepun F.* Boris Leonidowitsch Pasternak. Der "Fall" Pasternak // *Die Neue Rundschau*. 70. Jg. (1959). 1. Heft. S. 145–161; русский вариант: *Степун Ф. Б.Л. Пастернак* // *Новый Журнал*. 1959. № 56 (март). С. 187–206 (републикован: Литературное обозрение. 1990. № 2).
- ² Ср. письмо О. Дешарт Степуно 1963 г. о встрече Пастернака и Вячеслава Иванова в 1924 г.: «Еще издали увидела я длинную, извивающуюся людскую „очередь“; она начиналась у двери, ведущей в комнату ВИ., тянулась через коридор, спускалась по небольшой лестнице и терялась где-то в саду. „Здорово (мелькнуло у меня в голове), очередь за словом поэта, точно за хлебом или за сахаром“. Приблизившись, я увидела среди толпы Пастернака. Он, слегка склонившись, что-то карандашом чертил в записной книжке. „Зачем Вы здесь стоите, Боря?“ — подошла я к нему. Он вскинул свое смуглое лицо белого араба, сверкнул своими пронзительными, темными, с безуминкой глазами. „Зачем стою? — отозвался он грудным, немного театральным голосом. — Пришел сюда со своими техническими сомнениями, да и не только техническими“. Я рассмеялась: „Помилуйте, я не столь индискретна [от франц. *indiscret* — не деликатный], чтобы задавать такие вопросы. Спрашиваю, зачем Вы стоите в общей очереди“. Мы прошмыгнули боковым ходом. Боясь опоздать в соответствующее учреждение, я сразу ушла. До сих пор сожалею, что не осталась тогда при их последней встрече. Быть может, та их беседа подтверждала Ваше восприятие Пастернака как последнего символиста» (Рудник, Сегал 2001).
- ³ *Stepun F.* *Vergangenes und Unvergldngliches aus meinem Leben*. Munchen: J. Kösel, <1947>.

литература

- | | |
|--|--|
| <p>Пастернак I–XI / <i>Пастернак Б.Л.</i> Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2003–2005.</p> <p>Поливанов 1990 / <i>Поливанов М.К.</i> Тайная свобода // <i>Литературное обозрение</i>. 1990. № 2. С. 103–109.</p> <p>Рудник, Сегал 2001 / <i>Рудник Н., Сегал Д.</i> Письмо О.А. Шор (О. Дешарт) Ф.А. Степуно // <i>Зеркало</i>. 2001. № 17–18.</p> | <p>Степун I–II / <i>Степун Ф.</i> Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990. Т. 1–2.</p> <p>Чудакова, Лебедушкина 1992 / <i>Чудакова М.О., Лебедушкина О.П.</i> Последнее письмо Б.Л. Пастернака Ф.А. Степуно // <i>Быть знаменитым некрасиво...: Пастернаковские чтения</i>. М., 1992. Вып. 1. С. 269–279.</p> |
|--|--|